

Тема номера: «Антропология за пределами академии»

Ответственный редактор П.С. Куприянов

© С.В. Соколовский

## Экспертиза и характер социального знания

**Ключевые слова:** социальное знание, экспертиза, моральные экономики, ценности

В статье рассматривается проблема рецепции социального знания в сферах управления и бизнеса с учетом таких аспектов этого знания, как аналитико-дескриптивный, экспертно-прикладной и критический. Обсуждается понятие моральных экономик, различия в которых, по мнению автора, приводят к сбоям в коммуникации между исследователями или экспертами, с одной стороны, и заказчиками экспертиз, с другой. Приводятся примеры оперирования моральных экономик в дисциплинарных сообществах.

Социальные науки в целом — социология, психология, экономика, демография, правоведение, политические науки, социальная и экономическая история, социально-культурная антропология и этнология — нередко привлекаются как источники экспертного знания, и управленцы разных уровней с их потребностью в легитимации собственных решений регулярно обращаются в научные центры соответствующего профиля за оценкой конкретных проблем, ситуаций, высказываний или уточнением содержания отдельных понятий, относительно которых могут возникать разногласия. Авторитет научного знания здесь используется как *ресурс в политике убеждения*, реализуемой управленцами в рамках своих программ и компетенций, позволяя им взвешивать альтернативы и обосновывать свой выбор. Практически все социальные науки с момента своего оформления в качестве автономных научных дисциплин и сообществ претендовали не только на *описание* и анализ исследуемых в них аспектов реальности, но и на *решение* социальных проблем. Собственно, именно этот активистский и прикладной аспект социального знания и создал, как я считаю, весьма опасный и сеющий иллюзии союз между политической идеологией любой направленности и обслуживающим ее социальным знанием. Третий аспект этого знания, помимо уже двух отмеченных — *аналитико-дескриптивного* и *экспертно-прикладного* — *критический*, почти повсеместно подвергается давлению и вытеснению за рамки дискурса, маркируемого как «научный», и все чаще клеймится как политически ангажированный журнализм, при этом вероятностный характер самого социального знания, циркулирующего в рамках политических и академических институций, вопреки частым неудачам его использования в текущей административ-

**Соколовский Сергей Валерьевич** – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра антропоэкологии ИЭА РАН. e-mail: sokolovskiserg@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-0112-0739>

**Для цитирования:** Соколовский С.В. Экспертиза и характер социального знания // Антропологии/Anthropologies. 2025. No 2. С. 5–15, <https://doi.org/10.33876/2782-3423/2025-2/5-15>



ной практике и прогнозах всячески камуфлируется за счет его стилизации как знания «объективного» и «точного». Критика, однако, правильнее характеризуется не столько как точная, сколько как справедливая, и это обстоятельство возвращает нас к некогда довольно бурно обсуждавшейся в истории науки концепции *моральной экономики*.

Партнерство между политиками и управленцами или бизнесом, с одной стороны, и учеными, с другой, имеет в разных национальных традициях (а также в разных дисциплинарных сообществах) разную историческую глубину. Кроме того, оно воплощено в существенно различающихся институциональных формах и подчас характеризуется весьма оригинальными моральными экономиками (ср.: *Daston 1995*)<sup>1</sup>. Сравнительная история отношений науки и власти (или науки и бизнеса) с позиций характера использования экспертного знания сохраняет множество белых пятен даже в тех случаях, когда в нашем распоряжении имеется обширная историография и длительная традиция как, например, в случае антропологии, если иметь в виду национальные школы с более чем двухсотлетней историей (например, британскую, американскую, французскую, нидерландскую и российскую). Помимо существования таких пробелов в историографии дисциплин и национальных исследовательских традиций ощущается и явная нехватка работ в жанре антропологии дисциплинарного знания. И хотя Людвик Флек писал еще в середине 1930-х годов о научном коллективе не только как о коллективе единомышленников (*Denkkollektiv*), но и как о коллективе с разделяемыми аффектами (*Gefühlskollektiv*), то есть с общим коллективным настроением (*Kollektivstimmung*) (Флек 1999; Fleck [1935] 2021: 67), влияние этого фактора на восприятие научного знания как в публичном пространстве, так и в сфере управления или в отношениях между разными дисциплинарными сообществами, остается малоисследованным. Между тем по сообщениям моих коллег, участвовавших в разного рода экспертных проектах, и по моему собственному опыту такого участия именно этот фактор определяет восприятие социального зна-

<sup>1</sup> Понятие «моральные экономики», связывающее экономическое поведение с морально аффективным отношением к экономическим процессам, может рассматриваться в качестве одного из вариантов развития идеи Макса Вебера о связи протестантской этики с капитализмом, однако термин принадлежит известному британскому историку Эдварду Томпсону (*Thompson 1971, 1991: 259–351*). Впоследствии связанное с ним понятие использовалось в значительном числе исследований экономического поведения различных сообществ по всему миру, например, в известной работе Джеймса Скотта о крестьянских восстаниях в Юго-Восточной Азии (*Scott 1976*). Американский историк науки Лоррэн Дастон в упомянутой работе переосмыслила это понятие применительно к проблематике истории науки, существенно расширив и обогатив его содержание в своем анализе ценностных аспектов. В данном контексте особый интерес представляет потенциал этого понятия для сравнения национальных исследовательских традиций и разных дисциплинарных сообществ. В этой связи я вспоминаю один разговор с Л.М. Дробижевой, состоявшийся в самом начале 2000-х годов, вскоре после ее ухода в Институт социологии. На мой вопрос, как ей там работает, она ответила: «Сережа, там все намного серьезнее, чем у нас» (то есть в тогдашнем Институте этнологии и антропологии РАН). Этот ответ вполне отражал разницу в отношениях этнологов и социологов к методологии, фактографии, публикационной политике, управлению наукой — всем тем сферам, в которых и оперируют моральные экономики конкретных сообществ. Впоследствии, принимая участие в конференциях социологов, например, в ежегодно проводимых на базе Шанинки «Векторах», я неоднократно сталкивался с констатацией, что «у антропологов это все по-другому». Попытки выяснить эту инаковость, однако, нельзя признать содержательными, видимо, по причине отсутствия разработанного языка для сравнения различий в аффективно нагруженных нормах, интересах, ценностях и практиках, проявляемых в отношении к конкретным объектам, методам и процедурам, в которых обычно и выражается моральная экономика дисциплины.

ния как в обществе в целом, так и в министерствах, ведомствах и бизнес-организациях, выступающих в качестве заказчиков экспертиз. Это восприятие характеризуется двумя крайностями — либо знание социальных наук и построенные на нем экспертизы ассоциируются со знанием точных и естественных наук и наделяются характеристиками, ему вовсе не присущими, либо, при обнаружении расхождений с такими ожиданиями, оно начинает рассматриваться как журнализм, собрание анекдотических кейсов, беллетристика и т.п. Отдельный и особый характер знания социальных и гуманитарных дисциплин отрицается и среди определенной части научного сообщества, чаще всего — среди естественников. Е.П. Велихов, как известно, любил называть наши дисциплины в отличие от естественных — «противоестественными», то есть, в шутку или всерьез не рассматривал их проблематику как равную по значимости с проблематикой лучше ему знакомой физики плазмы или термоядерного синтеза, где он остается признанным во всем мире специалистом<sup>2</sup>.

Между тем, исследователи общества и культуры куда более, нежели их коллеги из естественных и точных наук, по самой сути своих занятий и интересов опосредуют связи не столько между *природой* и *обществом* (как это происходит в случае естественных наук), сколько между *наукой* и *обществом*, не переставая при этом быть частью обеих и в силу этого — носителями свойственных этим сферам особенностей культуры и ценностей. Это обстоятельство лежит в основании особого характера знания в социальных науках по сравнению со знаниями наук естественных, выражающегося, например, в такой яркой характеристике первого как существование феномена самосбывющихся прогнозов<sup>3</sup>. Можно вспомнить также о таких чертах социального знания, как неустранимый плюрализм мнений, избыточная метафорика, а также о терпимости к противоречиям, граничащей иногда с логической безгра-

<sup>2</sup> В апреле 2016 г. на полях очередного заседания Российской ассоциации содействия науки (РАСН) — общественной организации, которую он возглавлял и членом аналитической рабочей группы которой я являлся, у меня состоялась короткая дискуссия с академиком как раз на эту тему: в качестве серьезной социальной проблемы, в решении которой пригодились бы знания об обществе и культуре и которая средствами математики и физики, по моему мнению, не решалась, я назвал проблему утечки мозгов, спровоцировав очень эмоциональную реакцию моего собеседника, признавшего, впрочем, что такая проблема существует, и что «противоестественные науки» могли бы внести в ее решение свой вклад, и именно поэтому в аналитическую группу РАСН (которая, впрочем, почти сплошь состояла из коллег академика физиков) и приглашены представители гуманитарных дисциплин.

<sup>3</sup> На полях этих наблюдений дополнительно отмечу вдвойне опосредующий характер *науковедения* и *историографии науки*, претендующих на высказывания о научных дисциплинах, не исключая ситуаций в точных и естественных науках, с позиций *социального знания*, ценности и интересы, лежащие в основании которого, находятся в очевидном конфликте с ценностями и интересами сообщества естественных наук о природе. Впрочем, сегодня наивный реализм и натурализм взглядов многих «естественников» сталкивается с постоянно растущим опытом их же «вылазок» за границы естественнонаучного знания и апелляциями к знанию социальных наук в попытках объяснения таких феноменов как бюрократизация науки, эндемический редукционизм множества естественнонаучных программ, прихоти научной моды, изъяны слепого рецензирования и публикационной политики издательств и т.д. и т.п. Если вспомнить о том обстоятельстве, что одной из целей историографии науки и науковедения является понимание трендов развития научных знаний, то есть в известном смысле — *прогноз* этого развития, и соотнести это обстоятельство с уже отмеченным и характерным для социального знания феноменом самосбывющихся прогнозов — явления, обусловленного наличием обратных связей (или в терминах прежней кибернетики — замкнутого информационного контура с петлями обратной связи), то становится очевидной вся ирония взаимоотношений знания, условно говоря, физиков и биологов, с одной стороны, и знания социального, с другой.

мощностью, и о замеченных еще Т. Куном (Кун 1998: 10) ожесточенных спорах при отсутствии даже элементарного консенсуса относительно характера и статуса самых фундаментальных понятий для этих дисциплин — человека, общества, культуры, сознания, поведения, действия и т.д.

Впрочем, какая-то часть социальных наук, в особенности те из них, где интенсивно используются моделирование и математическая статистика, как, например, в экономике, демографии или в некоторых разделах политических наук и социологии (например, изучении электорального поведения), строится на отличающихся от соседних дисциплин принципах, приближаясь в данном отношении к нормам и идеалам точных и естественных наук. Однако и они, если говорить о прогностической компоненте их знаний, нередко испытывают провалы и неудачи, отчасти обусловленные характером используемых в них моделей, всегда строящихся на редукциях и потому существенно отклоняющихся от реальности<sup>4</sup>. Сам уровень сложности социальной реальности и общественный запрос на прогностику создает давление на значительную часть социальных наук, подвигая представителей соответствующих дисциплинарных сообществ на поиск «скрытых переменных», которые могли бы использоваться при разработке упрощенных (читай — редукционистских) моделей реальности для обслуживания прогностики. Социология и политические науки особенно подвержены такому давлению и часто ему уступают. Американский историк Джон Люис Гэддис в своей книге «Ландшафт истории: как историки картографируют прошлое», сравнивая подходы к реальности у политологов и у историков, отмечает *редукционизм* первых в отличие от «*экологического*» восприятия реальности у вторых. Тогда как политологи привержены поиску скрытых переменных, историки, привыкшие к анализу длительных последовательностей событий и исторических процессов, знают, что все наблюдаемые в них переменные оказываются взаимосвязанными, и ни одну из них нельзя считать определяющей. Этот автор приводит, кстати, и перечень редукционистских концепций, среди которых он называет концепцию рационального выбора в экономике, структурного функционализма в социологии, фрейдизма и бихевиоризма в психологии, теорию модернизации в ряде социальных наук, концепцию реальной политики в международных отношениях и др. (Gaddis 2002).

Мне неоднократно приходилось писать о различиях жанров научной статьи и экспертного доклада (см., например: Соколовский 2021), отчасти отражающих различия в характере и статусе знаний, циркулирующих в научных

<sup>4</sup> Хорошим примером здесь могут служить прогнозы демографов в отношении динамики численности мирового населения, в которых они используют сложные модели взаимодействия показателей рождаемости, фертильности, смертности и миграций и метод так наз. «передвижки возрастов», но с очевидностью недостаточно учитывают влияние экономических, геополитических и биологических факторов — кризисов, войн и пандемий, в силу чего степень точности таких прогнозов остается крайне невысокой и обычно строится на экстраполяции существующей динамики без учета экзогенных факторов. Например, вилка прогноза в существующих оценках населения планеты к 2100 г. находится в интервале от 5,6 до 17,5 млрд. чел., то есть составляет более 12 млрд. чел. (Андреев 2001). На бытовом языке это можно интерпретировать как утверждение, что в ближайший век население планеты либо сократится, либо вырастет. По приписываемой В.С. Черномырдину максиме: «предсказывать трудно, особенно будущее».



дискурсах и публикациях, с одной стороны, и в прикладных экспертных отчетах и докладах, с другой, поэтому на этот раз я попытался сфокусироваться на различиях самих этих типов знания, а не соответствующих каждому из них жанров письма. Различий этих немало, и их игнорирование является, как представляется, самым большим препятствием в налаживании диалога между учеными и практиками<sup>5</sup>. В качестве объекта для такого сравнения я беру антропологию как дисциплину мне лучше знакомую.

Сами методы антропологии — включенное наблюдение, анализ отдельных кейсов и нарративов, интервью — плохо соответствуют идеалам точного знания; они настроены на улавливание контекста, уникальных значений и с трудом поддаются обобщению и другим видам универсализации. Штучность, локальность и субъективизм получаемых этими методами знаний вступают в конфликт с ожиданиями от науки со стороны чиновников и прочих потребителей экспертного знания. Диалог на фоне таких ожиданий всегда труден и сталкивается с непониманием характера тех знаний, которыми располагает антрополог.

Одним из редких успешных случаев в моей практике консультирования и участия в экспертизах был многомесячный диалог с сотрудниками Росстата (именовавшегося, впрочем, в то время Госкомстатом), происходивший в 2000–2001 гг. перед первой Всероссийской переписью населения 2002 г. Почти все это время было потрачено не столько на согласования перечней этнических самоназваний, трансформируемых затем в ходе их агрегации в так называемый «список национальностей», сколько на прояснение для наших контрагентов смысла категории «национальность» как категории учета, а не характеристики личности, получаемой ею от рождения. Это позволило впоследствии опубликовать в материалах переписи не только официальные списки национальностей, но и полный перечень «категорий статистического учета по признаку национальность», то есть создать уникальный источник для исследования бытования самоназваний, число которых почти на порядок превышало число официальных этнических категорий, отража-

<sup>5</sup> Последние отдают явное предпочтение так называемой «точной» или «твердой» науке с ее количественными методами, строгостью и доказательностью, цифрами и индикаторами. Даже в управлении наукой они стремятся к оцифровке тех областей научного труда, которые квантификации заведомо не поддаются, например, измерить реальный вклад исследователей с помощью количества публикаций, уровня цитирований и прочих чисто формальных показателей, а не за счет оценки новизны их работ или реального влияния конкретных публикаций на развитие научных знаний (последнее отчасти объясняется наличием временного лага в реализации такого влияния). Попытки использования альтернативных методов оценки, иногда весьма успешные, например, привлечение к оценке авторитетных международных комиссий (ср.: International Benchmarking Review 2006; Symposium 2011), в случае институтов РАН привели к анекдотическому положению, когда оценивавшие работу научных учреждений члены отделений РАН в итоге не смогли ранжировать эту работу: из-за конфликта интересов среди членов комиссии, вовлеченных в исследования оцениваемых центров, все они получили высшую категорию, так что пришлось исключить «человеческий фактор» и возвращаться к формальным показателям, предлагаемым профильным министерством.



емых в остальных таблицах. Теперь, по прошествии времени, я усматриваю причины успеха в длительной совместной работе с заказчиком, во многом похожей на современные партиципаторные этнографические проекты с равноправным участием исследуемых во всех этапах и процедурах самого исследования, но главное — в *интерпретации* его результатов при принятии управленческих решений. Перепись 2002 г. была первой переписью в новой России, и статистики Госкомстата были заинтересованы в получении надежных результатов не менее, чем ученые. По контрасту наладить такой диалог, например, с чиновниками министерства науки по поводу оценки научного труда не получается из-за их полной незаинтересованности в эффективности научного поиска: формальный подход к управлению наукой оборачивается формальностью показателей.

Другим препятствием в налаживании такого диалога с непосредственным научным начальством остаются его неизбывные опасения относительно критического потенциала социального знания. Однако представляется, что если бы достижения подведомственных этим чиновникам научных центров прямо коррелировали с уровнем зарплат этих управленцев, то, быть может, интерес к нуждам науки и условиям развития знания был бы у них живее. Случай с Росстатом, однако, демонстрирует потенциал диалога с управленцами, и вину в неудачах аналогичных диалогов с заказчиками экспертиз не стоит полностью перекладывать на последних. Диалог строится на наличии общего языка, которого в готовом виде во множестве случаев не существует, поскольку дифференциация научного знания зашла так далеко, и обслуживающий его концептуальный аппарат стал настолько сложным, что требует особых усилий от обеих сторон для преодоления этих своеобразных языковых и понятийных барьеров.

Что может сделать социальный исследователь со своей стороны, чтобы обеспечить эффективность коммуникации в рамках экспертных проектов? Вообще-то, при адекватном учете различий в моральных экономиках, то есть в ценностях и интересах, а также понятийных ресурсах обеих сторон — не так уж мало. Во-первых, при учете ценностей противной стороны можно попытаться сделать некоторые шаги навстречу. Если управленец ждет от научного знания строгости и четкости и ассоциирует ее с таблицами, графами, метриками, анализом временных и материальных затрат при принятии того или иного сценария, то исследователь, даже опирающийся в своей повседневной работе исключительно на качественные методы, интерпретацию и понимание и скептически относящийся к громоздким технологиям статистического убеждения, вполне способен трансформировать или иллюстрировать какую-то часть своих утверждений с помощью знакомых заказчику форматов. Это может быть оценка распространенности среди населения определенного мнения или представлений (например, в процентах от интервьюированных); наблюдения могут быть представлены в виде трендов, и наоборот — статистика может сопровождаться конкретными кейсами и рассказами информантов, ее оживляющими; ключевые выводы могут быть представлены в виде графа, буллетированного перечня, любой инфографики. Наконец, располагая знанием, что управленец хорошо реагирует на наличие экономических оценок, можно предложить интерпретацию полученных результатов или рекомендаций в терминах рисков и выигрышей. Такой формат, как представляется, способен облегчить восприятие экспертного отчета со стороны лиц, имеющих



лишь смутное представление об особенностях социального знания<sup>6</sup>. Масштаб распространения сложившихся стереотипов и предубеждений относительно характера этого знания не стоит недооценивать.

Еще одним препятствием в такого рода диалогах является терминоведческая безграмотность обеих сторон, считающих, что знакомые им термины имеют единственные и строгие значения, а связанные с ними понятия — четкий объем, причем именно тот, который ему приписывается каждым из собеседников. Такая ситуация настолько распространена, а исключения из нее настолько редки, что в пору констатировать почти стопроцентную терминоведческую безграмотность, поскольку доля специалистов по терминоведению и семантике в нашей стране невелика, и их знание можно отнести к почти эзотерическому. Термин и правда должен иметь единственное значение и по возможности строго определенное, но с одной весьма существенной оговоркой — в рамках той терминосистемы, к которой он принадлежит. Существует иллюзия, что границы таких терминосистем совпадают с границами дисциплин, хотя каждый исследователь на собственном опыте знает, что за одними и теми же словами в его дисциплине могут стоять разные значения и смыслы: *этнос* Л.Н. Гумилева — это не *этнос* Ю.В. Бромлея и даже не *этнос* С.М. Широкогова. Любой терминолог скажет вам, что каждый более или менее самостоятельный исследователь располагает собственным тезаурусом (системой понятий) и собственной терминосистемой. Именно к таким индивидуальным и идиосинкратическим терминосистемам и тезаурусам (системам понятий) приложимы требования внутренней консистентности, отсутствия противоречий, омонимов, синонимов, наличия строгих определе-

<sup>6</sup> Одного из моих недавних собеседников интересовало содержание пары понятий, используемых как в некоторых документах международного права, так и в нашей дисциплине. Он ожидал твердых и финальных определений, на основе которых можно было бы анализировать «ситуацию на земле». Такое окончательное и подтвержденное авторитетом науки заключение обеспечило бы большую легитимацию последующих правовых заключений. В начале нашего обсуждения я представил ему довольно широкий спектр имеющихся определений этих понятий, не скрывая столкновения мнений и существующих вокруг содержания этих понятий дискуссий. Выслушав меня, он сказал: «Я так понимаю, что исследования продолжаются, и наука пока не пришла к окончательному выводу...» Мне пришлось его разочаровать, сказав, что по крайней мере в социальных науках такая характеристика знания как «окончателность» отсутствует, и не следует ожидать ни в каком обозримом будущем, что такие окончательные определения в нем появятся. Я добавил, что каждый сколько-нибудь самостоятельно мыслящий исследователь может предложить собственное определение, настроенное на решение его собственных задач, что научная терминология тем и отличается от технической, что ее терминосистема выстраивается как поисковая и в каждом случае — индивидуальная. Я пояснил, что если в технической спецификации перепутано название какой-то гайки, то вертолет не полетит, а вот тезаурус конкретного исследователя может использовать те же термины, что и у соседа, но наделять их иными смыслами, и что эти смыслы раскрываются только в системе воззрений самого этого исследователя. Я много еще чего ему рассказал, но взаимопонимания мы не достигли — его ожидания от науки не сбылись, и это его фрустрировало. Мне пришлось уйти с другого конца, объяснив, чем язык права с его опорой на прецедент и консенсус отличается от языка науки, и в особенности — от языка социальных наук с его попытками уловить локальные и уникальные значения, интуицией, метафорикой и проч. Мы достигли компромисса, лишь когда я перешел на язык правовых определений и посоветовал ему обратиться к специалистам по международному праву. Там тоже есть дискуссии по поводу содержания конкретных понятий, но они разрешаются ссылками на конкретные судебные дела и содержащимися в них интерпретациями судей, задающих прецедент определения, в данном отношении вполне соответствующий искомому моим собеседником критерию «окончателности». Мне повезло, что релевантные судебные случаи быстро обнаружились, и мы расстались довольными. Я привожу здесь столь затянувшееся описание этого обсуждения лишь потому, что оно представляется мне вполне типичным, и похожие ситуации возникают едва ли не при каждом разговоре между исследователями и потребителями экспертного знания.



ний, связывающих отдельный концепт с остальными элементами таких терминосистем и тезаурусов. Критика таких систем вполне возможна, но именно относительно их внутренней связности и логичности, а вот попытки навязывания собственных значений или заявления, что данный термин может использоваться только в том смысле, который вкладываете в него вы — нелепы. Они могут оправдываться лишь при выстраивании общего языка на основе консенсуса и договора, на что и уходит определенное, порой значительное время при переговорах заказчика экспертизы и ее исполнителей. Создание такого общего «интер-языка» в ходе взаимодействия в рамках экспертного проекта — дело сложное, однако поскольку любая коммуникация настроена на уникальный контекст, и поскольку при всех расхождениях наших семантических вселенных нам все-таки как-то удается общаться, это дело никогда не бывает безнадежным.

Наконец, третьим и тоже весьма существенным коммуникативным барьером является уже упомянутая выше разница в моральных экономиках, которая, впрочем, существует не только на уровне отношений между социальными науками и ожиданиями управленцев — заказчиков экспертизы, но и на уровне отдельных дисциплин, областей исследования и даже на индивидуальном микроуровне. Для того, чтобы проиллюстрировать это утверждение придется вернуться к содержанию понятия «моральная экономика», истории его использования и рассмотреть его содержание на более конкретных примерах.

Содержание самого этого понятия у упомянутых в сноске 1 авторов — Эдварда Томпсона, Джеймса Скотта и Лоррейн Дастон — отличается весьма значительно. За деталями отошлю читателя к замечательному обзору Дидье Фассена (*Fassin 2009*), поскольку в данном случае я опираюсь лишь на трактовку Дастон как наиболее подходящую для анализа знания в социальных науках, хотя наиболее популярной версией этого понятия среди антропологов, опубликовавших десятки работ о моральных экономиках крестьянских сообществ, стала версия Скотта. Поскольку речь идет об экономике, имеются в виду ее стандартные аспекты — производство, распределение, циркуляция и использование, однако в случае *моральной* экономики — не продуктов или товаров, но *чувств, эмоций, норм, ценностей и обязанностей*. В науке вообще и в социальных науках в частности моральная экономика проявляется в аффективно-ценностном отношении ко множеству аспектов обыденного научного труда — поиску и манере использования источников, стилю цитирования, рецензированию, выбору тех или иных исследовательских методов, распределению обязанностей в коллективе, включая соавторство, выбору журналов для публикации, отношению к поощрениям и наказаниям и к разным видам научных и вспомогательных занятий и т.д. и т.п. Я не упомянул еще аффективно заряженного отношения к самим принципам научного исследования — объективизму или субъективизму, универсализации или контекстуализации, обобщению или детализации, эмпиризму или логизму и т.д. Все перечисленное регулируется традиционно сложившимися в данном коллективе нормами, что в результате и лежит в основании обнаруженного еще Флемом *Gefühlskollektiv*'а.

За примерами далеко ходить не приходится. Работая много лет редактором в журнале, я не мог не заметить индивидуальных различий в манере ссылок: один автор предпочитает снабжать ссылкой на предшественников практически любое, даже самое банальное утверждение, очевидно ассоциируя





такого рода пунктуальность с научной строгостью и попутно подчеркивая собственную эрудированность, другой не ссылается даже при очевидных заимствованиях, либо полагая их столь очевидными, что они не нуждаются в документации, либо пытаясь скрыть плагиат. Один подвергает источники для ссылок тщательному отбору, отбраковывая вторичных авторов или иногда исключая авторов ему лично неприятных, другой цитирует первую попавшуюся на глаза работу, прямо или косвенно подтверждающую его утверждения без оглядки на статус цитируемого, очевидно лишь формально следуя этой пришедшей из средних веков традиции. Один рецензирует пристрастно, комментируя каждую мелочь в полученном им тексте, даже орфографию или грамматику, другой ориентируется лишь на собственный вкус, игнорируя научные достоинства и недостатки текста, третий склонен отвергать статьи лишь на том основании, что он считает себя лучшим специалистом в данной области, чем автор полученной им на рецензию статьи. Один высоко ценит количественные методы и молится на «данные», часто забывая о реальности (строгость статистических процедур в таких случаях затмевает и отодвигает на второй план вопрос о соответствии собранных в конкретных условиях материалов тем универсализирующим выводам, которые предлагаются в финале анализа), другой ни в грош не ставит эту громоздкую бухгалтерию убеждения, считая, что одна обстоятельная беседа даст больше знаний и лучше отобразит все сложности жизни на земле, чем сотня формализованных интервью. Один склонен использовать бесплатную и внеплановую помощь аспирантов, другой расценивает это как научное рабство и испытывает отвращение к такой практике. Один считает главным полевые наблюдения и снисходительно смотрит на другие источники информации — архивы, научную литературу, мысленный эксперимент; другой не видит особого смысла в такой иерархии, считая что рефлексия, исследовательское воображение, интуиция и эрудиция — более важные вещи для осмысления происходящего вокруг и под носом, то есть в повседневности, нежели романтизм и экзотизация, связанные с традиционной этнографией и ее традиционными же источниками. Один считает доблестью углубление в единственную проблему и тему и узкую специализацию, другой — что без синтеза всего наличного знания сегодня далеко не уедешь, но будешь обречен на изобретение велосипеда.

Все эти нюансы и отличия в аффективном основании знаний проявляются столь же выпукло и в интерфейсе знания собственно научно-исследовательского и экспертного, хотя далеко не всякое знание в науке может функционировать как знание экспертное, что становится особенно очевидным, если взглянуть на судьбы различных экспертных докладов и записок, часть которых сразу отправляется под сукно, другая до неузнаваемости перелицовывается, и лишь небольшая их часть срабатывает на прокламируемые цели экспертизы. Существуют и другие, более изощренные способы использования экспертного знания, например, давно подмеченное использование корпорациями результатов международных экспертиз для борьбы с конкурентами по бизнесу. Производимое в социальных и гуманитарных дисциплинах знание находится в весьма непростых отношениях с его практическими приложениями, и эти отношения нуждаются в анализе не только со стороны поставщиков знания, но и со стороны его потребителей. Обе стороны имеют собственные иллюзии и свойственные их коллективам моральные экономики, учет различий в которых, хотя бы отчасти, способен содействовать избавлению от таких иллюзий и лучшему взаимопониманию участников столь важного для общества диалога.



## Литература

- Андреев Е. М.* Предсказывать трудно... // Демоскоп–Weekly. 2001. № 37–38. URL: <https://web.archive.org/web/20150403072706/http://demoscope.ru/weekly/037/progn01.php> (дата обращения: 30.07.2025).
- Флек Л.* Возникновение и развитие научного факта. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Кун Т.* Структура научных революций. Благовещенск: Благовещенский гуманитарный колледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998.
- Сokolовский С. В.* Публикационная политика и проблемы развития антропологических исследований в России // Вестник Российской Академии наук. 2022. Т. 92, № 2. С. 131–139. DOI: 10.31857/S0869587322020086.
- Daston L.* The Moral Economy of Science // *Osiris*. 1995. No. 10. P. 2–24.
- Fassin D.* Les économies morales revisitées // *Annales. Histoire, Sciences Sociales*. 2009. Vol. 64, No. 6. P. 1237–1266.
- Fleck L.* Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Basel: Benno Schwabe & Co., 1935 (13. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2021).
- Gaddis J. L.* The Landscape of History. How Historians Map the Past. N.Y.: Oxford University Press, 2002.
- International Benchmarking Review of United Kingdom Social Anthropology: An International Assessment of UK Social Anthropology Research. L.: Economic and Social Research Council, 2006.
- Symposium on the ESRC, BSA, and HAPS International Benchmarking Review of UK Sociology // *Sociological Review*. 2011. Vol. 59, No. 1. P. 149–164.
- Scott J. C.* The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven, CT: Yale University Press, 1976.
- Thompson E. P.* The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century // *Past and Present*. Feb. 1971. No. 50. P. 76–136.
- Thompson E. P.* Customs in Common. L.: The Merlin Press, 1991.

## Research Article

**Sokolovskiy S. V.** Ekspertiza i kharakter social'nogo znaniia [Expertise and the nature of social knowledge] *Anthropologies*, 2025, no 2, pp. 5–15, <https://doi.org/10.33876/2782-3423/2025-2/5-15>

© Institute of Ethnology and Anthropology RAS

**Sokolovskiy S. V.** | [sokolovskiserg@gmail.com](mailto:sokolovskiserg@gmail.com) | <https://orcid.org/0000-0002-0112-0739> | Chief Researcher, Institute of Ethnology and Anthropology RAS, Center of Anthropoecology



## Abstract

The article examines the problem of academic knowledge reception among policy-makers and business elites, taking into account such aspects of this knowledge as analytical-descriptive, applied and critical. The concept of *moral economies* is discussed, the differences in which, in the author's opinion, lead to the communication problems between researchers or experts, on the one hand, and the end users expertise, on the other. The author provides some examples of moral economies operating in various disciplinary communities.

**Keywords:** social knowledge, expertise, moral economy, values

## References

- Andreev, E.M. 2001. Predskazyvat' trudno... [Forecasting is difficult...]. *Demoscope–Weekly*, 37–38 (<https://web.archive.org/web/20150403072706/http://demoscope.ru/weekly/037/progn01.php>). Access date: 30.07.2025.
- Fleck, L. 1935. *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv* [Genesis and development of a scientific fact]. Basel: Benno Schwabe & Co. (13. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2021).
- Fleck, L. 1999. *Vozniknovenie nauchnogo fakta* [Genesis and development of a scientific fact]. Moscow: Dom intellektual'noi knigi.
- Kuhn, T. 1998. *Struktura nauchnykh revolutsii* [Structure of Scientific Revolutions]. Blagoveschensk: Baudouin de Courtenay Blagoveschenskii college for humanities.
- Sokolovskiy, S.V. 2022. Publikatsionnaia politika i problemy razvitiia antropologicheskikh issledovaniy v Rossii [Publication Policy and Current Issues in the Development of Anthropological Research in Russia]. *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 92, 1: 88–95.
- Daston, L. 1995. The Moral Economy of Science. *Osiris*, 10: 2–24.
- Fassin, D. 2009. Les économies morales revisitées [Moral Economies Revisited]. *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 64, 6: 1237–1266.
- Gaddis, J.L. 2002. *The Landscape of History. How Historians Map the Past*. N.Y.: Oxford University Press.
- International Benchmarking Review of United Kingdom Social Anthropology: An International Assessment of UK Social Anthropology Research*. 2006. London: Economic and Social Research Council.
- Symposium on the ESRC, BSA, and HAPS International Benchmarking Review of UK Sociology. 2011. *Sociological Review*, 59, 1: 149–164.
- Scott, J.C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Thompson, E.P. 1971. The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century. *Past and Present*, 50: 76–136.
- Thompson, E.P. 1991. *Customs in Common*. London: The Merlin Press.

